

## Отец

Писать об отце трудно, не впадая в пафос и не лукавя. Решето моей памяти слишком крупно: сохранились лишь обрывки, которые так срослись с его собственными историями и с рассказами других людей, что походят на легенды и мифы – как, впрочем, это всегда и происходит с прошлым. А попытаться все это отбросить, так и рассказать будет не о чем. Все начнет распадаться и сыпаться. В решете останутся разве что чудеса – смутные чувства и тревожные запахи, и постоянно меняющееся лицо, ускользающее по прошедшим годам в неразличимое беспамятство...

Лет в семь я прочитал заходеровское: «Никакого нет резона у себя держать бизона, так как это жвачное грубое и мрачное», и почему-то очень полюбил и стишок, и бизона, которым, разумеется, сразу стал мой отец. «Грубость» была для меня просто знаком силы – я, конечно, не мог не гордиться, наблюдая, как мой отец титанически корчует на даче пни. Веселый, полный надежд и энергии. А мрачность... Проступала ли она уже тогда, или я угадал случайно?

Дача – самое счастливое время и место моей жизни. Печка буржуйка, керосиновая лампа, вода из далекого колодца. Молодые родители, не боящиеся никаких трудностей. Радостные ожидания отца, приезжающего на попутках из Москвы и идущего от далекой деревни пешком с тяжелым рюкзаком за плечами. Его мучительные боли в пояснице, из года в год, и мама вяжет ему шерстяную телогрейку. А потом он поскальзывается на куче бревен и падает, обрушивая кучу на себя, и радикулита как не бывало. А как-то, возвращаясь с дачи, он ловит очередную попутку – цистерну с молоком – и отказывают тормоза, и машина на полном ходу врзается в кучу других стоящих на светофоре машин. Об этом я узнаю лишь через много лет – меня «берегут» и врут, что отец упал с лестницы – как будто это что-то меняет...

Вот наш сад, он весь утыкан "плодово-выгодными" деревьями, и неутомимый «древесный бизон» часами висит на вишневых деревьях, соперничая с дроздами и собирая кислющие ягоды, из которых мама делает чудесное варенье. А вот отец, у которого наконец-то выходной, героически преодолевая непременно наступающую сонливость, вслух читает нам от корки до корки толстенные книги: "Записки Пиквикского клуба", "Мертвые души", и "Тихий Дон" для мамы, и еще какие-то, которых я уже не упомяну. Он читает, и слушать его так уютно!..

Литература была его страстью. «Когда я ем, я глух и нем» – это было не про нас: в те времена у нас за обедом всегда что-то читалось вслух или обсуждалось. Другой страстью была музыка. Он узнавал мгновенно любую симфонию и увлеченно пел следом вместе с радио, и голос его вплетался в оркестровую ткань и постепенно брал верх, так что далее мы слышали в основном уже только его интерпретацию. Или он брал карманную партитуру какой-нибудь бетховенской симфонии, ставил пластинку и учил меня следить за вступлениями и смешениями инструментов, успевая при этом напевать, отстукивать ритм и размахивать руками. Собственно, моя сестра и я – мы стали двумя детьми его двух страстей...

А еще было здорово приходиться к отцу в цирк. Представления я совершенно не любил, разве только клоунов. Гораздо интереснее была жизнь за кулисами: запахи животных, здоровенная нога слона, запросто разгуливающие и жонглирующие на ходу артисты. И комната оркестрантов, где отец резался и выигрывал в шахматы, за что получил от друзей в подарок красивые фигурки из матового стекла, которые он передал мне, поощряя мой интерес к премудростям этой игры. И маленькая, тесная, забитая музыкантами, инструментами и нотными пюльтами оркестровая площадка, где мне однажды разрешили посидеть и понаблюдать, как мой отец, внимательно следя за ареной, смачно озвучивает каждый удар кирпичом по бедной клоунской голове. И, конечно, излюбленные цирковые сплетни: кто с кем разругался и разошелся, кто шлепнулся с трапеции, кто кого прямо на арене загрыз или задрал. И легенда о том, как какой-то выпивоха все приставал к моему отцу, чтобы заставить его дерябнуть водки – то ли отец спор какой проиграл, то ли просто так. Водку отец не то, что не уважал – весь его организм сотрясался от одного запаха сивухи. В те редкие моменты, когда он по необходимости опрокидывал за столом рюмочку, на его лице отражалась такая неповторимая гамма чувств, что жадные до острых бесплатных ощущений гости замирали в неподдельном восторге, и для такого смертельного номера не хватало лишь положенной барабанной дроби. Так вот, в цирке,

чтобы покончить с этим занудным приставадой и не растягивать пытку, отец в присутствии очевидцев осушил одним махом граненый стакан, в результате чего снискал славу тайного алкоголика...

Как-то собрался отец с цирком на долгие три месяца в Африку. К отъезду готовились тщательней, чем к тюрьме: мама сушила и обжаривала в духовке бесчисленные сухари из черного хлеба, который в тех краях не водился, – лучший подарок всем музыкантам и истосковавшимися по родине посольским работникам. Провожали, конечно, всей семьей. Сухарей было несколько мешков, и запахали их с трудом в государственный контейнер с барабанами. А потом мы дома, получая письма, следили по карте за его передвижениями где-то там, в совсем нереальном мире.

Потом отец бывал в Африке еще два раза, исколесив кучу городов и стран и основательно подорвав свое здоровье, и каждый раз возвращался с уймой рассказов: про обезьян и слонов, про горы бананов и арбузов, про изматывающую жару и бесконечные цирковые представления, каждый день на новом месте. Про опасные ночные переезды в горах по узкому серпантину и про изможденных музыкантов, вынужденных всю дорогу горланить песни, чтобы водитель не уснул за рулем. Про ужасные гостиничные рестораны и пищу, на приготовление которой лучше было не смотреть. Про ползающих ночью по потолку гадов, похожих на морских звезд, которых разгоняют с помощью швабры, и про змей, плюющих прямо в глаза. Про то, как в гостиницах вылетали пробки, когда наши артисты дружно втыкали в розетки свои кипятильники. И про то, как их, советских граждан, один раз поселили в срочно уплотненном по сему случаю борделе...

Наибольшей популярностью на шумных застольях пользовалась его история про самолет. Поднимаясь по трапу для очередного перелета, отец ни с того ни с сего, неожиданно для самого себя ткнул пальцем в направлении одного из шасси себя и пошутил в привычной для него манере: «Что-то мне это колесо не нравится!» В самолете просидели целый час, так и не взлетев, потом всех почему-то попросили выйти. Спускаясь по тому же трапу, заметили рабочих, возившихся как раз у того самого колеса. Вспомнили про шутку, и всем стало не по себе. Тут же донесли сопровождавшему группу гэбисту. Потом всю дорогу тот уныло приставал к отцу, пытаясь его «расколоть» на признание, откуда он получил информацию о неисправном шасси. С тех пор все стали слишком серьезно относиться к подобным шуткам моего отца и зачастую суеверно пытались прервать его на полуслове.

Но лучше всего были его рассказы о далеких временах. Он ведь рос без родителей, и его воспитателями были такие же, как он, дети – его товарищи по несчастью, по детскому дому и военно-музыкальной школе. Рассказывая об их судьбах, он всегда удивлялся, до чего ж ясно было уже тогда, что из кого получится. Ворох горьких и смешных воспоминаний остался у него с той поры. Остались и настоящие друзья. Вся его закваска, все его понятия о порядочности и верности слову, его равнодушие к всевозможным "благам" – из того тяжелого и ясного времени. Не подличать, не шкурничать, не доносить и не унижаться, держаться вместе и все делить на всех – простые и естественные принципы на всю жизнь. Они были ему не в тягость, хоть и становились все более несовременными.

Абсурдность армии, в которой концентрировалась абсурдность всей советской системы, сделала из моего отца храброго солдата Швейка. Со скромной гордостью показывал он мне лист, куда были занесены все его многочисленные отсидки на «губе». Причина гауптвахты была указана всюду одна и та же: «за пререкание», варьировался только срок. Собственно, он всю жизнь только и делал, что пререкался, неуклонно повышая профессиональный уровень своих проступков.

Из его армейских сценок мне запомнились две. Хоть он и служил в кавалерийской школе имени Буденного, на лошади так ни разу и не посидел. Как-то раз кому-то в штабе пришлось в голову, что воспитанники-музыканты должны порадовать москвичей своей игрой. Их решили усадить на лошадей вместе с инструментами: пусть себе дудят и галопируют одновременно. Мой дальновидный отец, прикинув, какие последствия для неумелого седока может повлечь за собой удар по барабану под ухом у лошади, наотрез отказался и заявил, что лучше уж пойдет на «губу». Дирижер поразмыслил и предложил выгодную сделку: проводить вместо него политзанятия. Слывший говоруном отец немедленно согласился и так и остался на этом празднике жизни безлошадным зрителем, ничуть об этом не жалея. Даже без удара по барабану эффект вышел внушительный: непривычные к чудовищным звукам животные с испугу

покрушили все вокруг, раскидав инструменты и седоков в разные стороны, и только тубист так и остался висеть в стремени головой вниз вместе со своей тубой.

В другой сценке тому же оркестру воспитанников выпала священная миссия – встретить генерала маршем и сопровождать его удалое гарцевание вдоль выстроенных на плацу войск. Была только одна загвоздка: генерал требовал, чтобы в те волнующие мгновения, когда конь под красной попоной будет картинно застывать с задранной ногой, оркестр сразу же бросал бы марш и дул изо всех сил аккорд "фа-мажор". Для чего – бог его знает. Видать, этот генерал обладал особо тонким и пластическим цветомузыкальным восприятием мира, наподобие русского композитора Скрябина. Но высокая творческая задача оказалась музыкантам не под силу: духовики чуть не поумирали, когда конь – эта подлая тварь с медным всадником на загривке – внезапно надолго окаменел, решая, когда и где опустить копыто.

Но чаще всего рассказывал отец про то, как он подговорил двух своих товарищей внести свою лепту в защиту родины, и они сбежали из воинской части: так сказать, дезертировали в направлении фронта. На станции они уговорили какого-то старшину, везшего коров, взять их с собой. Тот обрадовался дармовым помощникам и пустил их в вагон, казавшийся в темноте пустым. Забрались они на сено, заснули. Среди ночи просыпается отец, а его кто-то лижет! Шершавым таким языком. Отец и говорит: «Валька, меня тут лижут!» Протянул товарищ руку – а это здоровенный бычара оказался, племенной производитель. Забились они в угол от страха и так всю ночь и просидели. Утром стали старшину укорять – чего не предупредил? А он: на фронт собрались, а быка испугались!.. По пути на беглецов была возложена забота о коровнике и этом быке, которого звали Моряк (у старшины-еврея выходило «Могак»): таскали воду, пролезая на станциях под эшелонами, чистили вагоны, выбрасывая навоз на полном ходу. Когда старшина их все-таки ссадил, они забрались на платформу с танками и пролежали несколько часов, уткнувшись лицом в снег – чтобы часовой с соседнего вагона не заметил. Их, как подозрительных личностей без документов, могли по законам военного времени шлепнуть запросто и без долгих разбирательств. До фронта однако им так и не удалось добраться, и они вернулись назад, где над ними хотели устроить показательный суд... У моей сестры есть такие стихи: «Когда мой отец, / детдомовский мальчишка, / убежал на фронт со своим другом, / друг был убит в пути. / Про него никто не рассказывает: / ”Когда мой отец...”»

Афоризмы отец начал писать как-то незаметно для всех, между делом и без отрыва от производства. А когда заметили, было уже поздно: его известность набирала обороты.

Хотя, честно говоря, эти маленькие фразы поначалу мало кто воспринимал серьезно: подумаешь, какая невидаль, шутников много. Да отец и сам не верил, что это так серьезно. К «невечным» мыслям еще долго надо было прорываться через шелуху каламбуров.

Сначала он бросил цирк. Купил ударную установку, новую, отливающую чудным красным перламутром, и стал играть в ресторанных ансамблях. Чтоб угнаться за модой и за молодыми, пришлось переучиваться, и он часами занимался дома, странно выворачивая руки и зажимая палочки между двумя пальцами, большим и указательным. Это была его стихия – ритм, дерзкие «брейки» и резкие синкопы и, конечно, соло – в тридцать два и в шестьдесят четыре такта, которые он играл, полностью выкладываясь и корча от напряжения жуткие рожи.

Но здоровье ухудшалось (тут отец непременно сказал бы: «Сердце у меня очень хорошее, только больное»), да и времени на афоризмы не хватало. И он принял решение. Кажется, у нас в семье я узнал о нем последним. Помню всеобщее волнение и неуверенность: еще бы! – главный добытчик бросает, как Моцарт, свою (какую-никакую) службу, покидает теплое стойло и уходит пастись на дикие неогороженные пастбища! Проклятое искушение оставить после себя что-то нетленное...

Но бояться было нечего: к этому времени он уже всюду выступал с концертами. Он ужасно гордился: несмотря на сомнение многих эстрадных акул в том, что такие "мелочи" вообще могут звучать со сцены, афоризмы звучали, и еще как! Сначала по "закрытым" институтам, потом и в концертных залах, от Владивостока до Бреста, с "Двенадцатью стульями" Литгазеты, на телевидении в передаче "Вокруг смеха", с "рупорами перестройки" – журналом "Огонек" и газетой "Московский комсомолец". Пять минут или два часа, тесная комната или огромный зал, ученые, солдаты или генералы – по сути, ему было все равно. Главное – там были люди, восторженные лица, новые знакомства, долгие беседы и необычные истории.

Интересны были ему в жизни только люди. След от оконченного им философского факультета был, по-моему, не глубок: сложное и абстрактное философствование не увлекало его совершенно. Будучи неважным психологом, он любил людей, доверчиво и простодушно. И, как многие очень вспыльчивые люди, он готов был первый протянуть руку после жуткой ссоры и не держал ни на кого и ни за что зла.

Как-то раз он сказал: «Знаешь, есть писатели, знаменитые одной-единственной строчкой – вот от Орлова осталось только это, гениальное: "Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат..."». Потом прибавил лукаво: «Я надеюсь, после меня останется все же несколько строчек...»

Искусство вечно, а жизнь коротка, как афоризм.

Еще до отъезда в Германию отца стали реже приглашать на выступления: времена пришли другие, коммерческая ценность его выступлений – без пошлости, китча, эпатажа, панибратства – стала сомнительной. Настоящие друзья, шумные и веселые застолья почти иссякли. А слушатели были ему все нужнее, они могли бы уберечь от наступающего мрака и дать еще чуть-чуть поиграть в незаменимого в любой компании блистательного рассказчика и неутомимого шутника...

Врачи сказали, что он перенес множество микроинсультов. На снимке мозга они показали мне выгоревшие области – черные точки, несшие моему отцу болезнь и смерть. Безобидные на вид и маленькие, как и его фразы. Как его «невечные мысли», додумать которые до конца было для него самым важным на свете делом. Ни на мгновение не отпускающие, заставляющие и бессонной ночью вновь и вновь мучительно переделывать и оттачивать – "крутить", как он это называл.

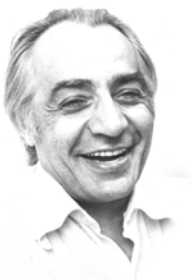
Видно, опасное это было занятие. Публики не стало, и его мыслям некуда было деться. Они крутились, и, остро отточенные, так и оставались в нем, вонзаясь и оставляя после себя сожженные мосты и маленькие черные точки...

Вот и все. Долгие годы на нескольких страницах. Вероятно, все было совсем не так, я же и сам это понимаю. Но стоит ли пытаться взыскивать правды – наводить справки и вопрошать, настоящее ли это прошлое или ненастоящее? Оно, как и в романах Фолкнера, всегда настоящее, оно меняется с каждым теперешним мгновением – всего лишь наше собственное отражение...

В случайном разговоре с одной пожилой, властной и высокомерной дамой, вдруг выяснилось, что она была ведущей многих концертов, в которых выступал мой отец. Тут она внезапно помягчала и с ностальгической нотой в голосе сказала мне: «Знаете, а ведь он был совсем не такой, как другие... Вы себе и представить не можете, что там за кулисами творилось! Все суетились, вычисляя, когда, за кем и перед кем им выходить на сцену, ссорились и скандалили, пытались куда-то пролезть и с кем-то поменяться. Только один Миша просто стоял в стороне, что-то обдумывая и ожидая своего выхода...»

Он теперь снова в стороне. И снова просто ожидает своего выхода.

\* \* \*



***Мир тесен: постоянно натыкаешься на себя.***

***Друзья: преданные тебе, предавшие тебя, преданные тобой.***

***Совесть меня давно уж не мучает. Видно, жалеет.***

***Не люблю смотреться в зеркало, годами к нему не подхожу, а тут как-то глянул - боже, как оно постарело!***

***Великие редко бывают живыми.***

***Михаил Генин***